

«*Rosoco* нашего запоздалого вкуса...»  
(Из комментария к стихотворению Баратынского  
«О мысль! тебе удел цветка...»)\*

О мысль! тебе удел цветка:  
Он свежий манит мотылька,  
Прельщает пчелку золотую,  
К нему с любовью мошка льнет  
И стрекоза его поет;  
Утратил прелесть молодую  
И чередой своей поблек —  
Где пчелка, мошка, мотылек?  
Забут он роем их летучим,  
И никому в нем нужды нет;  
А тут, зерном своим падучим,  
Он зарождает новый цвет.<sup>1</sup>

Это стихотворение Баратынского, казалось бы, совершенно прозрачно и не нуждается в дополнительных истолкованиях. Однако для более полного понимания авторского замысла необходимо отметить эмблематический подтекст, усиливающий сюжетообразующую аналогию: безымянный *цветок* в данном случае, по-видимому, имеет вполне конкретное имя и значение. Это фиалка трехцветная (*Viola tricolor*), чье название в ряде европейских языков образовано от слов «мысль», «размышление» и/или «воспоминание», «память»: ср. французское *pensée* (мысль; воспоминание; трехцветная фиалка), испанское *pensamiento* (мысль; трехцветная фиалка); немецкое *Gedenkblume* от *Gedenken* (память, воспоминание; ср. однокоренное *Gedanke* — мысль) и *Blume* (цветок); итальянское *viola del pensiero* (букв.: «фиалка мысли»; второе итальянское название — *pen-*

---

\* Более ранний, краткий, вариант этой статьи см. в интернет-издании: Кириллица, или Небо в алмазах: Сб. к 40-летию К. Ю. Рогова. [Тарту, 2006] (<http://www.ruthenia.ru/document/539845.html>).

<sup>1</sup> *Баратынский Е. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 2002. Т. 2. Ч. 1. С. 313. Стихотворение впервые напечатано в издании «Стихотворения Евгения Баратынского: В 2 ч.» (М., 1835. Ч. 1. С. 188); соответственно, наиболее корректная датировка — не позднее конца 1833 г., когда был завершён набор первой части «Стихотворений». Датировка в Полном собрании сочинений (1832—1833) основана на предположении, о котором см. ниже, в примеч. 27.

*sée*; вар. *pensé*, как и английское *pansy*, заимствовано из французского). Символом мысли и/или памяти это растение выступало и в условном «языке цветов». И хотя ни укрепившееся в русской традиции название *анютины глазки*, ни иные именованья этого цветка, бытовавшие в России первой половины XIX в. (*фиалка трехцветная, веселые глазки, троичный* или *троицын цвет, мотылек*)<sup>2</sup>, подобных коннотаций не содержат, символическое значение цветка было хорошо известно и регулярно обыгрывалось в садовом<sup>3</sup> и прикладном<sup>4</sup> искусстве.

Примеры использования трехцветной фиалки в символической функции мы найдем и в европейской литературе. Так, Офелия объясняет Лаэрту значение цветов: «There's rosemary, that's for remembrance; pray you, love, remember: and there is pansies, that's for thoughts» («Вот розмарин: это для воспоминания; прошу вас, милый, помните; а вот троицын цвет, это для дум» — «Гамлет», IV, 5; пер. М. Л. Лозинского)<sup>5</sup>. На символике этого цветка построен мадригал А. Шамиссо «A Cérés Duvernay» (1803) — поэт прячет на сердце фиалку, упавшую с груди красавицы:

---

<sup>2</sup> *Шарафадина К. И.* «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи: (Источники, семантика, формы). СПб., 2003. С. 173.

<sup>3</sup> Ср. описание «острова Венеры» в Гатчине: «Cette île de sable et d'arbustes est-elle bien propre à nourrir ce sentiment intime, profond, infini, qui cherche les confidences de la solitude, une nature douce et même un peu mélancolique, l'aimable murmure d'une cascade, les coteaux agréablement ombragés de groupes d'arbres, le gazon fleuri où croissent *le souvenir et la pensée?* ce n'est que là qu'il se plait et s'exprime sans réserve?» («Этот песчаный островок, заросший мелким кустарником, разве не подходит он для чувства интимного, глубокого, бесконечного, ищущего тайны уединения; природа нежная и слегка меланхолическая, сладостное журчание водопада, приятная тень деревьев на склонах, цветущая лужайка, где переплелись *незабудка* и *анютины глазки*, разве не здесь лучше испытывать приязнь и выражать ее без стеснений?» — *франц.*) (*Müller Ch.* Tableau de Pétersbourg, ou Lettres sur la Russie, écrites en 1810, 1811 et 1812... Paris, 1814. P. 499).

<sup>4</sup> См.: *Шарафадина К. И.* Алфавит Флоры. С. 84, 87.

<sup>5</sup> Как и *анютины глазки*, розмарин служит символом памяти; эта пара цветов в связи с темой посмертного воспоминания есть и в стихотворении Эдгара По «К Анни» («For Annie», 1849): «For now, while so quietly / Lying, it fancies / A holier odor / About it, of pansies — / A rosemary odor, / Commingled with pansies — / With rue and the beautiful / Puritan pansies» («В блаженном безмолвии / После развязки / Над нею склонились / *Анютины глазки*, / Святой розмарин / И *анютины глазки*, / Девичья невинность, / *Анютины глазки*». — Пер. А. Сергеева; в более ранних переводах К. Д. Бальмонта и М. Л. Лозинского русским эквивалентом английского *pansy* выступает другое название трехцветной фиалки — *троицын цвет*). Ср. пару «розмарин — *незабудка*» в балладе А. И. Мещевского «Лиля» (между 1815 и 1818) (см.: Поэты 1790-х — 1810-х годов. Л., 1971. С. 713—715 (Б-ка поэта; Большая серия)).

Bientôt je sentis cette fleur  
Devenir graine dans mon cœur  
Et ce graine se répandre,  
Lever et croître et me surprendre,  
Remplir le jardin de mon cœur.  
Depuis ce jour mille pensées  
Malgré moi troublent mes journées,  
Fleurissent pendant mon sommeil,  
Se flétrissent à mon réveil,  
Renaissent avec ton image,  
Et me poursuivant en tout lieux.<sup>6</sup>

Символическое значение трехцветной фиалки неоднократно обыгрывалось русскими поэтами начала XIX в. В стихотворении В. А. Жуковского «Мотылек и цветы» (1824) этот цветок соседствует с еще одной любимицей поэтов, забывкой:

Но есть меж вами два избранные,  
Два ненадменные цветка:  
Их имена, им сердцем данные,  
К ним привлекают мотылька.  
Они без пышного сияния;  
Едва приметны красотой:  
Один есть цвет *воспоминания*,  
*Сердечной думы* цвет другой.  
  
О милое воспоминание  
О том, чего уж в мире нет!  
О дума сердца — упование  
На лучший, неизменный свет!<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> «Вскоре я почувствовал, как цветок этот стал зерном в моем сердце, зерном, которое распространилось, возросло, заколосилось и, захватив меня врасплох, заполнило весь сад моего сердца. С того дня тысячи мыслей (=фиалок. — Н. М., Н. О.) против моей воли тревожат мое существование: они расцветают во сне, увядают при пробуждении, возрождаются от твоего образа и преследуют меня повсюду» (*франц.*) (*Chamisso A. von. Werke. Berlin, 1856. Bd. 5. P. 21—22*). Для нашего последующего изложения бесполезно привести отклик французского критика, процитировавшего это стихотворение Шамиссо «pour montrer à quel point notre compatriote était déjà Allemand pour le tour de l'imagination, même dans ses vers français» («чтобы показать, до какой степени наш соотечественник стал немцем по духу своего воображения даже во французских стихах»): «Ce fantastique madrigal semble traduit de l'allemand» («Этот фантастический мадригал кажется переводом с немецкого») (*Ampère J.-J. Poètes et romanciers modernes de l'Allemagne. Louis de Chamisso // Revue des Deux Mondes. 1840. T. 22. P. 652*).

<sup>7</sup> Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 241, 627. При первой публикации в «Северных цветах на 1825 год» (СПб., 1824. С. 357) стихотворение было снабжено примечанием: «Стихи, написанные в альбом

В стихотворении В. И. Туманского «Pensée (Посвящ. гр. Е. П. П.)» (1825)<sup>8</sup> обыгрывается значение «память, воспоминанье» — ср.:

Н. И. И., на рисунок, представляющий бабочку, сидящую на букете из *pensées* и незабудок». Следующая за текстом виньетка повторяет тот же сюжет. Редакторы полного собрания сочинений Жуковского не только не откомментировали эмблематические подражания, но и не отметили, что в «Северных цветах» и альбомном автографе Жуковский графически выделит семантику цветов, подчеркнув в пятой строфе слова *воспоминания* и *сердечной думы*, а в шестой — *воспоминание* и *упование* (в «Северных цветах» здесь курсива нет); подобные выделения сделаны и в сопроводительном стихотворном обращении к владелице альбома Н. И. Ивановой-Фризенгоф: «Прекрасный цвет *воспоминанья* / *И думы сердца* милый цвет» (см.: *Кишкин Л. С.* Чехословацкие находки: Из зарубежной пушкинианы. М., 1985. С. 109, 201). К сожалению, это посвящение не включено в Полное собрание сочинений как отдельный текст: отрывки из него опубликованы как предварительная, черновая редакция стихотворения «Мотылек и цветы» (с. 627). Показательно, что аллегорический смысл *мотылька* — *души* у Жуковского был мгновенно прочитан А. С. Пушкиным. См. его письмо к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 г. (Акад. Т. 13. С. 153; отмечено: *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные. СПб., 2008. С. 11–28; ср. также замечания П. А. Плетнева в письме к Я. К. Гроту от 11 ноября 1841 г. — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 430). Здесь же следует заметить, что подобные альбомные композиции были отнюдь не редки: ср., например, акварель Ф. П. Толстого «Бабочки. Анютины глазки» из альбома Д. И. Ивановой (Дешан), датирующуюся 1819 г. и хранящуюся ныне в ОПИ ГИМ (см.: *Кузнецова Э. В.* Федор Петрович Толстой: 1783—1873. М., 1977. С. 256). О флористическом коде в женских альбомах пушкинской эпохи см.: *Корнилова А. В.* Мир альбомного рисунка: Русская альбомная графика конца XVIII — первой половины XIX века. Л., 1990. С. 73—75; *Шарафадина К. И.* Алфавит Флоры. С. 65—98. См. также подборку поэтических и графических презентаций мотива «мотылек и цветок», собранную Н. И. Михайловой (Онегинская энциклопедия. М., 2004. Т. 2. С. 140—143). Любопытным дополнением к этой подборке может стать аполог «Пчела и мотылек», являющийся очевидной параллелью к разбираемому стихотворению Баратынского: «Нарцис в цвету — к нарцису вьется / Пчела и пестрый мотылек; / Нарцис завял, нарцис поблек — / И одиноком остается / Печальный, грустный стебелек» (Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827. «Поэзия». С. 40; подпись: М (М. А. Максимович ?)).

<sup>8</sup> При публикации в «Северных цветах на 1830 год» (СПб., 1829) стихотворение Туманского было снабжено авторским примечанием: «Цветок, известный у нас под названием *Анютины глазки*». Это обстоятельство ставит под сомнение гипотезу Р. М. Кирсановой, возводящей это название к имени героини романа А. А. Погорельского «Монастырка» (1830) — *Анюта* (см.: *Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XIX в.: Опыт энциклопедии. М., 1995. С. 20—21; ср. также: *Шарафадина К. И.* Алфавит Флоры. С. 87): примечание к стихам Туманского увидело свет раньше, чем роман Погорельского. О фольклорном происхождении названия «анютины глазки» свидетельствует и следующий пассаж Максимовича 1831 г.: «По красоте цветы близкая родня поэзии. Поэзия, одушевляясь ими, всегда любила одушевлять их. Следы такого одушевления представляет народная поэзия наша,

Чтоб у друзей хранилась я,  
Как чистый дар воспоминанья...

И слаше роз благоухаю  
Одною памятью о ней.<sup>9</sup>

Вероятно, именно трехцветная фиалка послужила прообразом невянувшего цветка в надписи З. А. Буринского на могиле А. Давыдовой (1805):

На ее могиле есть цветок незримый,  
Всюду разливает он благоуханье,  
Он цветок заветный, он цветок любимый —  
*Он воспоминанье.*

И вечно-душистый цветок неизменный  
Не боится бури, не вянет от зною,  
Сторожит сохранно имя преселенной  
К вечному покою!<sup>10</sup>

Она же, скорее всего, подразумевается в стихотворении Д. П. Ознобишина «Троицын день» (1829, опубл. в 1830; ср. с распространенным названием трехцветной фиалки — «троицын цвет»):

Мы над тобой печально слезы льем,  
И тонет мысль в живом воспоминанье!  
Душа цветка, в дыхании твоём  
Нам слышится знакомое призванье.<sup>11</sup>

---

в песнях, обрядах и поверьях. <...> Самые имена цветов: *маткина душка, Иван да Марья, Анютины глазки* (pensée), *дрема, мать и мачеха* — показывают поэтическое сближение чувства и мысли с природою» (Северные цветы на 1832 год. СПб., 1831. «Проза». С. 146). Весьма сомнительно, чтобы ботаник Максимович употребил только что возникший неологизм литературного происхождения в качестве фольклорного именованья цветка.

<sup>9</sup> *Туманский В. И.* Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 154—155.

<sup>10</sup> Поэты 1790-х — 1810-х годов. С. 314—315. Об истории стихотворения, ставшего популярным романсом, см. комментарии Ю.М. Лотмана (Там же. С. 837).

<sup>11</sup> *Ознобишин Д. П.* Стихотворения. Проза. М., 2001. Кн. 1. С. 206. Вторая строфа стихотворения Ознобишина «О, как скользит с листочков аромат! / Роса небес на них благоухает. / И мотылек, прельщая златом взгляд, / Над нежными кружится и летает» — возможно, отозвалась в стихах 2—3 аполога Баратынского (заметим также, что оба автора, по-видимому, помнят об еще одном распространенном именовании трехцветной фиалки — «*мотылек*»). Уподобление и даже отождествление этого цветка с бабочкой — мотив, уже к середине XIX в. ставший весьма популярным: ср. раскрашенную гравюру Гранвиля 1847 г., где «Pensée» изображена в виде женщины-бабочки, в задумчивости подпершей щеку рукой (Les fleurs animées / Par J.-J. Grandville; Introd. par A. Karr; Texte par T. Delord. P., 1847. V. 1. P. 40; снимок см.: <http://images.nypl.org/?id=1130399&t=w>). На распространенность такой ассоциации прямо указывает В. Г. Бенедиктов в

Уже отмечалось, что стихотворение «О мысль! Тебе удел цветка...» может быть данью «русскому шеллингианству», культивировавшемуся в кругу «московских юношей»<sup>12</sup>, с которым Баратынский сблизился в конце 1820-х — начале 1830-х гг.<sup>13</sup> Нынешнее наше наблюдение, возможно, позволит уточнить характер этой «дани».

Использование растительной метафоры для построения различных интеллектуальных моделей было особенно характерно для немецкой философии конца XVIII — начала XIX в., противопоставившей органическую образность механистической, популярной в философии материализма<sup>14</sup>. Приведем лишь несколько примеров, в которых умозрительная конструкция строится на развернутой растительной метафоре.

Шлейермахер в «Горизонтах» (1800) применил ее к индивидуальному развитию человека, противопоставив субъективно прекрасной поре цветения объективно ценное время плодов:

Для самого растения высшее есть цветок, прекрасное завершение индивидуального бытия; для мира высшее в нем есть плод, оболочка для семени грядущих поколений, дар, который должно приносить каждое самобытное существо, чтобы чужая природа могла приобщить его к себе. Так и для человека радостная жизнь юности есть высшее, и горе ему, когда она уходит от него; но мир требует, чтобы он стал старым, дабы возможно скорее созрели его плоды. <...> Где цветок жизни

стихотворении «Фиалка и мотылек» (1860): «В сравненья мы идем. Меня зовут поэты / Сидячим мотыльком, / Тебя ж они зовут... читал ты их куплеты?.. / Порхающим цветком» (вольное переложение «La pauvre fleur disait au papillon céleste...» В. Гюго (1834); в оригинале этого мотива нет). Из более поздних примеров можно вспомнить стихи А. Ахматовой: «И анютиных глазок стая / Бархатистый хранит силуэт — / Это бабочки, улета, / Им оставили свой портрет» (1961), видимо, отсылающие к «Пану» К. Гамсуна (*Тименчик Р. Д.* Чужое слово: Атрибуция и интерпретация // Лотмановский сборник: 2. М., 1997. С. 95, 99).

<sup>12</sup> Условный термин «московские юноши» введен (вместо анахронического «любомудры») для характеристики круга московской философствующей молодежи конца 1820-х — начала 1830-х гг. (см.: *Мазур Н. Н.* Пушкин и «московские юноши»: Вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 54—105).

<sup>13</sup> *Мазур Н. Н.* «Правда без покров»: Об одной эпиграмме Баратынского // In Other Words: Studies to Honor Vadim Liapunov / Indiana Slavic Studies. 2000. Vol. 11. P. 212—215. Как отметил В. Н. Топоров, под «шеллингианством» в эту эпоху подразумевался конгломерат идей новой «немецкой учености» — как самого Шеллинга, так и Канта, Шиллера, Шлейермахера, Фихте, братьев Шлегелей, а нередко и Гегеля, Аста и Бахмана (*Топоров В. Н.* Из исследований в области поэтики Жуковского // *Slavica Hierosolymitana*. 1977. Т. 1. С. 40).

<sup>14</sup> Об органической и механистической метафоре в европейском философском дискурсе конца XVIII — начала XIX в. см. главы 7 и 8 в кн.: *Abrams M. H.* The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. Oxford, 1971.

добровольно зачинает плод, там да будет этот плод сладостным наслаждением миру; и пусть скрыто лежит в нем оплодотворенное зерно, которое некогда разовьется для новой самобытной жизни.<sup>15</sup>

Фридрих Шлегель в трактате «Об изучении греческой поэзии» (1797) использовал эту метафору для характеристики греческой поэзии, которая, как он считал, яснее всего воплотила в себе принципы развития всякой живой культуры:

Великий и малый прогресс проистекает как бы сам собой из предшествующей ступени и содержит в себе в зародыше всю последующую ступень. <...> ...как органический зародыш (Keim) благодаря постоянной эволюции формирующего влечения завершал свой круговорот, успешно рос, пышно цвел, быстро созревал и внезапно увядал, так же обстояло дело и с каждым поэтическим жанром, каждой эпохой и школой поэзии.<sup>16</sup>

Гегель во «Введении» к «Философии духа» (1817) при помощи этой метафоры толковал термины логики и, шире, законы мышления:

Зародыш растения — это чувственно наличное понятие — завершает свое разворачивание некоторой равной ему действительностью, а именно порождая семя. То же самое справедливо и относительно духа, и его развитие достигает своей цели, если его понятие оказалось полностью осуществленным, или, что то же самое, если дух достиг полного сознания своего развития. Это смыкание начала с концом — это прихождение понятия в процессе своего осуществления к самому себе — проявляется, однако, в духе в еще более совершенной форме, чем в простом живом существе, ибо, в то время как в этом последнем порожденное семя не тождественно с тем, что его породило, в самопознающем духе порожденное есть то же самое, что и порождающее.<sup>17</sup>

С 1820-х гг., по мере усвоения «германской учености», растительная метафорика проникает и в русский философический дискурс, где применяется главным образом для описания стадийных моделей. Объясняя, почему он считает Шиллера «недозревшим» поэтом, в «Разговоре с Ф. В. Булгариным» (1824) В. Кюхельбекер писал:

Неспелые плоды зелены; их издали не различить от листьев: незревший писатель может принести честь *своему* времени и *своему*

---

<sup>15</sup> Шлейермахер Ф. Д. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим: Монологи. СПб., 1994. С. 331.

<sup>16</sup> Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 153.

<sup>17</sup> Гегель Г. Ф. В. Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1977. Т. 3: Философия духа. С. II (§ 379); см. также § 161 и 167 в так называемой «Малой логике», являющейся первой частью той же «Энциклопедии» (М., 1974. Т. 1).

народу; но он сливается с *ними*, исчезает в *них* и с *ними*. <...> ...семя зрелого только плода произростит другое плодоносное дерево; возмужалый только гений в состоянии преобразить свой век и страну свою; он только родит и в других народах гениев, своих учеников, но не рабских подражателей.<sup>18</sup>

Близкий образ находим в статье Н. И. Надеждина «Всем сестрам по серьгам (Новая погудка на старый лад)» (1829):

Литература есть цвет человечества. Она вместе с ним прозябает, распускается и возрастает. Но само человечество есть не что иное, как непрестанное развитие. <...> Настоящее есть плод прошедшего и семя будущего!<sup>19</sup>

Более распространено сходную мысль излагал И. В. Киреевский в статье «Деятнадцатый век» (1832):

Просвещение человечества, как мысль, как наука, развивается постепенно и последовательно. Каждая эпоха человеческого бытия имеет своих представителей в тех народах, где образованность процветает полнее других. Но эти народы до тех пор служат представителями своей эпохи, покуда ее господствующий характер совпадает с господствующим характером их просвещения. Когда же просвещение человечества, довершив известный период своего развития, идет далее и, следовательно, изменяет характер свой, тогда и народы, выражавшие сей характер своею образованностью, перестают быть представителями всемирной истории. Их место заступают другие, коих особенность всего более согласуется с наступающею эпохою. Эти новые представители человечества продолжают начатое их предшественниками, наследуют все плоды их образованности и извлекают из них семена нового развития.<sup>20</sup>

Эту же метафорику в «Литературных мечтаниях» (1834) подхватил переимчивый Белинский:

Наше общество также близко к своему окончательному образованию. <...> Да! в настоящем времени зреют семена для будущего! И они взойдут и расцветут пышно и великолепно, по гласу чадолюбивых монархов! И тогда будем мы иметь *свою* литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцев...<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 464 (Лит. памятники).

<sup>19</sup> Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 118.

<sup>20</sup> Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 97.

<sup>21</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 103. Любопытен также позднейший фрагмент из отзыва на «Сумерки» Баратынского (1843), в котором явно отозвались обороты гегелевской диалектики: «Каждое последу-



Мы не возьмемся указать для стихотворения Баратынского конкретный источник; резоннее было бы предположить, что поэт уловил общее для немецкой романтической философии пристрастие к растительной метафорике и построил на этой основе собственную гносеологическую конструкцию, допускающую множественные интерпретации. Отчасти уместно здесь и дидактическое толкование в духе Шлейермахера, которое находит дополнительную опору в евангельской параллели: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12: 24; ср.: 1 Галат. 15: 35–36, 42–44)<sup>22</sup>. Однако с равным успехом в этом тексте можно усмотреть отражение и других концепций — как шлегелевской дихотомии вечного круговорота природы и поступательного развития человеческого ума, так и гегелевской модели становления самопознающего духа.

Все философские смыслы поэт уместил в рамки текста, способного выступить в роли салонной шарады или подписи к альбомному рисунку<sup>23</sup>. «О мысль! тебе удел цветка...» — образцовый пример *poésie fugitive*, «легкой» или, как переводит этот термин Вадим Ляпунов, «летучей поэзии», которая предполагает изящную простоту мысли и языка, оттенок экспромта и элемент интеллектуальной игры<sup>24</sup>. Возможно, у истоков этого неожиданного симбиоза лежало не только декларированное Бара-

---

ющее поколение относится к предшествующему, как корень к зерну, стебель к корню, ствол к стеблю, ветвь к стволу, лист к ветви, цвет к листу, плод к цветку. Но это сравнение только относительно, только внешним образом верно и не обнимает сущности предмета; дерево совершает вечно однообразный круг развития: выходя из зерна, оно зерном вновь становится, чем и оканчивается вся органическая его деятельность. По новейшим открытиям, жизненная сила и прототип каждого растения заключаются не только в зерне, но и во всяком листке его: отпадая и разносясь ветром, листья вновь являются деревьями, и через них нагие степи покрываются лесами» (Там же. Т. 6. С. 457).

<sup>22</sup> Ср. поэтическое переложение этого стиха Ф. Н. Глинкой в «Беседе Иисуса с Учениками и с Небом»: «Когда пшеничное зерно / Лежит, без тления, одно, / Иль брошено ветрам на волю, / Оно не принесет плода... / Но, в землю падшее — когда / Умрет, — истлев в пыли негодной — / Восстанет жатвой многоплодной» (Радуга на 1830 год. М., 1830. С. 223).

<sup>23</sup> См. выше, примеч. 8. Заметим кстати, что особенно богат был «цветочными» текстами несомненно известный Баратынскому альбом ботаника М. А. Максимовича, в значительной своей части заполненный завсегдаями дома Елагиных-Киреевских во второй половине 1820-х — первой половине 1830-х гг. (описание см.: Пономарев С. И. Альбом М. А. Максимовича // Киевская старина. 1882. Т. 1. С. 152–173).

<sup>24</sup> См.: Masson N. La poésie fugitive au XVIII-e siècle. Paris, 2002. P. 15–38, 199–230.

тынским (вслед за И. В. Киреевским<sup>25</sup>) намерение «знакомить своих читателей с результатами науки (философии. — *Н. М., Н. О.*), дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею»<sup>26</sup>, но и скрытая полемика с некоторыми художественными установками «московских юношей».

Основным адресатом этой полемики мог быть С. П. Шевырев, в начале 1830-х гг. увереннее всех претендовавший на роль первого «поэта мысли». Его едва ли не самое известное к этому моменту стихотворение «Мысль» (1828) также строилось на растительной метафорике:

Падет в наш ум чуть видное зерно  
И зреет в нем, питаясь жизни соком;  
Но придет час — и вырастет оно  
В создании иль подвиге высоком,  
И разовьет красу своих рамен,  
Как пышный кедр на высотах Ливана:  
Не подточить его червям времен,  
Не смыть корней волнами океана;  
Не потрясти и бурям вековым  
Его главы, увенчанной звездами,  
И не стереть потоком дождевым  
Его коры, исписанной летами.  
Под ним идут неслышною стопой  
Полки веков — и падают державы,  
И племена сменяются чредой  
В тени его благословенной славы.  
И трупы царств под ним лежат без сил,  
И новые растут для новых целей,  
И миллион оплаканных могил,  
И миллион веселых колыбелей.  
Под ним и тот уже давно истлел,  
Во чьей главе зерно то сокрывалось,

---

<sup>25</sup> Его рассуждения о необходимости философии для развития русской поэзии см., например, в статье «Обозрение русской словесности 1829 года» (*Киреевский И. В. Избранные статьи. С. 68; впервые: Денница на 1830 год. [М., 1830]*).

<sup>26</sup> Письмо к И. В. Киреевскому от 16—18 (?) февраля 1832 г. (цит. по: *Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. М., 1998. С. 289*). Чуть позднее, около 16 мая 1832 г., Баратынский писал Киреевскому, развивая предложенную им философскую тему: «Что ты говоришь о басне нового мира — мне кажется очень справедливым. <...> Я написал всего одну пьесу в этом роде и потому не могу присвоить себе чести, которую ты приписываешь. Изобретение этого рода будет нам принадлежать вдвоем, ибо замечание твое меня поразило, и я непременно постараюсь написать десятка два подобных эпиграмм. Писать их не трудно, но трудно находить мысли, достойные выражения» (Там же. С. 294). Составители летописи предполагают, что речь здесь идет как раз о стихотворении «О мысль! тебе удел цветка».

Отколь тот кедр родился и созрел,  
Под тенью чьей потомство воспиталось.<sup>27</sup>

В первых четырех строках этого текста введено новое для русского читателя представление о психологии творческого процесса, почерпнутое Шевыревым, по всей вероятности, из «Всеобщей теории изящных искусств» И. Г. Зульцера. В статьях «Изобретение» («Erfindung») и «Вдохновение» («Begeisterung») Зульцер развивал положение Лейбница о начальном процессе формирования идей, лежащем в области бессознательного, используя уже знакомую нам растительную метафорику<sup>28</sup>. Так, в статье «Изобретение» находим следующий характерный пассаж:

Примечательное явление, относящееся к тайнам психологии, состоит в том, что некоторые мысли не развиваются и не улавливаются, когда мы полностью заняты ими, но спустя какое-то время,

---

<sup>27</sup> Шевырев С. П. Стихотворения. Л., 1939. С. 49—50 (Б-ка поэта; Большая серия). Впервые: МВ. 1828. Ч. 8, № 8. С. 357—358. Любопытно, что Шевырев вписал это стихотворение в альбом Максимовича (см.: Пономарев С. И. Альбом М. А. Максимовича. С. 161). Вокруг «Мысли» немедленно разгорелась литературная склока: Ф. В. Булгарин, мстя за критические высказывания «Московского вестника» в адрес «Северной пчелы», подверг стихотворение язвительному разбору, а в целом квалифицировал его как «философическо-аллегорический вздор» (СПч. 1828. № 58, 15 мая). Партию «Московского вестника» поддержал Пушкин: «За разбор *Мысли*, одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева, каждого по достоинству» (письмо к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г. — Акад. Т. 14. С. 21). Реакцию И. А. Крылова, к сожалению, до сих пор не удалось убедительно соотнести с каким-либо из его текстов: М. И. Аронсон в своем комментарии произвольно связал с данным сюжетом басню «Бритвы», опубликованную в «Северных цветах на 1829 год» (см.: Шевырев С. П. Стихотворения. С. 219); опровергнув эту версию, Н. Л. Степанов предположил, что против Шевырева и Булгарина направлена басня «Филин и Осел», появившаяся в печати только в 1830 г. (см.: Степанов Н. Л. И. А. Крылов: Жизнь и творчество. М., 1958. С. 176—178). Однако интерпретация Степанова смотрится натянутой и односторонней: если видеть в басне сатирический портрет русских шеллингианцев (что само по себе далеко не бесспорно), то места «северным шмелям», т. е. Булгарину и Гречу, здесь явно не находится (что противоречит совершенно ясному свидетельству Пушкина). Позднее к полемике на стороне «Северной пчелы» присоединился А. А. Бестужев: «Клим зернами идей стихи свои назвал; / И точно, все, как зерна, их лелеют; / Заключены в хранительный подвал, / Пускай они до новой жизни тлеют!» (Бестужев-Марлинский А. А. Собр. стихотворений. [Л.], 1948. С. 44, 203; впервые: СО. 1831. № 24. С. 246; Н. И. Мордовченко, указавший адресата эпиграммы, датирует ее периодом 1828—1831 гг.).

<sup>28</sup> О значении этих статей во взглядах Зульцера и о его опоре на Лейбница см.: Abrams M. H. The Mirror and the Lamp. P. 202—204.

когда мы ими не заняты, они сами собой предстают нам в полной ясности, как если бы все это время они росли внутри нас незамеченными, подобно растению, а потом внезапно явились пред нами в полном развитии и цвете. Многие мысли постепенно зреют внутри нас, а потом сами собой высвобождаются из смутной массы идей и вырываются внезапно на свет.<sup>29</sup>

У Шевырева эта идея не выходит за пределы начального четверостишия; шестнадцать следующих строк отданы под амплификацию мотивов роста и развития, и только в последнем катрене поэт возвращается к начальному образу, чтобы встроить его в идейный контекст, связанный уже не с психологией творчества, а со значительно более традиционной темой (смертность человека vs. бессмертие мысли). Первоначальный интеллектуальный импульс не преодолел инерции «одического стиля»: «библейские реминисценции, архаизмы и славянизмы, ораторская интонация, мысль программная и отвлеченная, воплощаемая непрерывной цепью словесных образов, метафорических и рассудочных»<sup>30</sup>, — подавили новаторскую идею.

Баратынский, несомненно, помнил о нелицеприятной оценке своей поэзии в шевыревском «Обзрении русской словесности на 1827 год». Критик упрекал его в «заметном влиянии французской школы» и в «желании блистать словами», называл «скорее <...> поэтом выражения, нежели мысли и чувства», и сетовал на то, что «часто весьма обыкновенную мысль он оправляет в отборные слова и старательно шлифует стихи, чтобы придать глянцу своей оправе»<sup>31</sup>. Стихотворение «О мысль! тебе удел цветка...» воспроизводило все изъяны, в которых упрекал поэта Шевырев, — ориентацию на французскую поэзию рококо, игру словами и смыслами, чистоту и гладкость слога. Однако по содержательности *мысль* Баратынского не уступала «Мысли» Шевырева: сжатая форма «летучей безделки» оказалась куда более емкой, чем распространенная и выпяченная философская ода.

---

<sup>29</sup> *Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der schönen Künste... Frankfurt; Leipzig, 1798. Bd. 2. P. 99—100. Ср. в статье «Вдохновение»: «Известно из опыта, хотя и трудно объяснимо, что мысли и идеи, рождающиеся из долгого размышления над предметом — будь они ясные или смутные, — накапливаются в душе и прорастают в ней незамеченными, как зерна в плодородной почве, пока наконец в подходящий момент не выйдут внезапно на свет. И тогда мы видим, как предмет наших мыслей, витавший перед нами неясным и смутным, подобно бесформенному призраку, встает перед нами в отчетливой и завершенной форме» (Ibid. Leipzig, 1792. Bd. 1. P. 353).*

<sup>30</sup> *Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974. С. 67—68.*

<sup>31</sup> Цит. по: *Летопись жизни и творчества Е. А. Баратынского. С. 201.*

Литературные мотивации, побудившие Баратынского вступить в скрытое соперничество с Шевыревым, могут быть, на наш взгляд, довольно точно описаны пушкинским отзывом о переписке Вольтера (1836): «Признаемся в *rococo* нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах (речь идет об экспромте, где Вольтер воспользовался «языком цветов». — *Н. М., Н. О.*) мы находим более *слога*, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие — площадным цинизмом или вялой меланхолией» (Акад. Т. 12. С. 79).

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

**ПУШКИН  
И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ**

Сборник научных трудов

Выпуск 5 (44)



«Нестор-История»  
2009